

XX век (до 1917 года)

В.М. ДОРОШЕВИЧ
(1864—1922)

Старый палач **(Сахалинский тип)**

В кандалном отделении «Нового времени», в подвальном этаже, живет старый, похожий на затравленного волка, противный человек с погасшими глазами, с болезненным, землистым лицом, с рыжими полуседеыми волосами, с холодными, как лягушка, руками.

Это старый палач Буренин. Сахалинская знаменитость. Всеми презираемый, вечно боящийся, оплеванный, избитый, раз в неделю он полон злобного торжества — в день «экзекуций».

Свои мерзкие и жестокие «экзекуции» он проводит по пятницам.

Это — «его день»!

Он берет своей мокрой, холодной рукой наказуемого и ведет в свой подвальный застенок.

С мерзкой улыбкой он обнажает дрожащего от отвращения и ужаса человека и кладет его на свою «кобылу».

От этого бесстыдного зрелища возбуждается палач. Он торжествует. Задыхаясь от злобной радости, он кричит свое палаческое:

— Поддержись! Ожгу! И «кладет» первый удар.

— Реже! Крепче!

И опьяневший от злобы и подлого торжества палач часа три-четыре истязает жертву своей старой, грязной, пропитанной человеческой кровью плетью.

Истязает умелой, привычной рукой, «добывая голоса», добываясь крика.

Если жертва, стиснув зубы, полная презрения, молчит, не желая крикнуть перед палачом, злоба все сильнее сжимает сердце старого палача, и, бледный, как смерть, он бьет, бьет, бьет, истязует, калечит жертву, «добывая голоса»!

Это молчание, полное презрения, бьет его по бледному лицу — его презирают даже тогда, когда он молчит.

И он задыхается от злобы.

Если жертва не выдержит прикосновения грязной, человеческой кровью пропитанной плети и у нее вырвется крик, — эти крики и стоны опьяняют палача.

— Что ты? Что ты? — говорит он с мерзкой и пьяной от сладострастия улыбкой. — Потерпи! Нешто больно? Нешто так бьют? Вот как бьют! Вот как! Вот как!

И он хлещет, уже не помня себя.

И чем чище, чем лучше, чем благороднее лежащая перед ним жертва, чем большей симпатией, любовью, уважением пользуется она, тем больше злобы и зависти просыпается в душе старого, презренного, оплеванного, избитого палача.

Тем больше ненависти к жертве чувствует он и тем больше тешит себя, терзая и калеча палаческой плетью свою жертву.

Случалось ему и вешать.

Его все избегают, и он избегает всех.

Угрюмый, понурый, мрачный, он пробирается сторонкой, по стенке, стараясь быть незамеченным, каждую минуту ожидая, что его избыют, избыют

больно, жестоко, без жалости, без сострадания. Вся жизнь его сплошной трепет.

— Не тяжело ли это, Буренин?

— Должность такая, — угрюмо отвечает он, — я в палачах давно. И мне из палачей уж нельзя. Мне страх надо нагонять. Я страхом и держусь. Они меня ненавидят...

И с такой ненавистью он говорит это «они»! «Они» — это все.

— Они и за человека меня не считают. Я для них хуже гадины. Я ведь знаю. Подойдет иной, руку даже протянет. А я-то не вижу разве? Дрожь по нему пробегает от гадливости, как мою скользкую, холодную руку возьмет. словно не к человеку, а к жабе притронулся. Тьфу!.. Убьют они меня, ваше высокоблагородие, ежели я палачество брошу.

И такая тоска, смертная тоска звучит в этом «убьют».

— И не жалко вам «их», Буренин?

— А «они» меня жалели? — И в его потухших глазах вспыхивает мрачный огонек. — Меня тоже драли! Без жалости, без милосердия драли, всенародно. Глаз никуда показать нельзя: все с презрением, с отвращением глядят. Так драли, так драли, — с тоской, со смертной тоской говорит он, — у меня и до сих пор раны не зажили. Гнию весь. Так и я же их! Пусть и они мучатся! И я на них свое каторжное клеймо кладу. Выжигаю клеймо.

— Да ведь ваше, палаческое, клеймо не позорно, Буренин.

— А все-таки больно. Больно все-таки!

— И много вы, Буренин, народу... вашей плетью...

— Да, будет-таки! — подтягиваясь и выпрямляясь, отвечает старый палач, и в голосе его звучит хвастовство. — Не сочтешь! Каких-каких людей передо

мною не было! Э-эх! Вспомнишь, — сердце чешется! По Тургеневу, Ивану Сергеевичу, моя грязная плоть ходила. Чистый был человек, хрустальной чистоты, как святого его считали. Нарочно грязью плоть измазал, да по чистому-то, по чистому! Самые места такие выбирал, чтоб больней было. Попоганее бить старался, попоганее! Со внедрением в частную жизнь, можно сказать! Чтоб гаже человеку было. Гаже-с. На это у меня рука! Хлещу и чувствую, что человек не столько от боли, сколько от омерзения ко мне содрогается, сердце во мне и разгорается: как бы побольнее да погаже, попоганее-с! И кого только я вот этак... погано-то... Все, что только лучшим считалось. Чем только люди гордились. Из художников Репин, Антокольский, Ге покойник, из писателей Короленко, Мамин, Михайловский-критик, строптивый человек...

— Почему же строптивый, Буренин?

— Похвалить я раз его задумал, с лаской к нему подошел. Он от меня, как от нечисти, отшатнулся: «Не смей, — кричит, — меня, палач, своей палаческой рукой трогать. Истязать ты меня можешь, — на то ты и палач, но протягивать мне твоей поганой руки не смей». Гордый человек! А я ведь к нему с лаской... Эх, много, много их было. Скабичевский, Стасов, Чехов, Антон Павлович, Немирович-Данченко, Василий и Владимир, Боборыкин, Плещеев покойник, сам Толстой, Лев Николаевич, меня знает.

— И его?

— Всех поганил. Не пересчитать! Еще один был... Ну, да что вспоминать!

— Как же вы, Буренин, над ними действуете? Поодиночке?

— Зачем поодиночке! Какое же это удовольствие? Какая же радость? Нет-с, чтобы всех присных его

истязать. Со всею семьею, с детьми, любовницу, если есть. Со «внедрением»! Это-с пытка! Это-с мучительство! Другой храбер. Его-то плетью бьешь, «плевать», — говорит, — на этой плети столько праведной человеческой крови, сколько и в тебе-то крови не осталось!» А начнешь истязать, да при всех обнажать, да срамить-то его жену, — он и закричит. Голос, — хе-хе! — подаст! Боли не выдержит. Это что, — человека взять, когда он в кабинете сидит, сочинение пишет! Нет, в спальню к нему забраться, взять его, тепленького, когда он в постели лежит. Тогда взять его и жену и в подвал к себе привести — и перед публикой-то их голыми, голыми! Срамить! Да плетью-то не по нем, а по жене, по жене, на его-то глазах! Крикнет! Какой ни будь человек, не выдержит... Хоррошо! Тьфу! При одном воспоминании слюной давишься!

— Вы и женщин, Буренин? Тоже в частную жизнь...

— Без числа! Их-то самая и прелесть. Потому мужчину надо с опаской. А женщина, что она? Слабенькая-с... Особливо, когда заступиться за нее некому. Ну и начнешь! Иногда даже, случалось, перекладывал. Женщину-врача, изволили слышать, Кашеварову-Рудневу раз взял... Ну, и того! Переложил. Под суд отдали. Посадили.

— Вас, Буренин?

— Нет, наемного человека. Меня-то за что же-с? Я палач. Мое дело такое.

— Ну, а вешать вам, Буренин, приходилось?

Бледное лицо старого палача дернулось, потемнело, в потухших глазах загорелся еще мрачнее огонь, и он сдавленным голосом ответил:

— Бывало.

— И не страшно, Буренин?

— Спервоначалу жутко. Как повесишь его, западню-то из-под него вышибешь, как закрутится он на веревке, ногами часто-часто перебирает, — в душу подступает...

И Буренин указал куда-то на селезенку.

— Был один тут... покойник... Фу ты, господи! Даже «царство ему небесное» язык сказать не поворачивается... Старый палач с трудом перевел дух.

— Молодой был... Волосья длинные... Стихи он писал... И такие душевные, грустные... словом душа с телом расставалась... Будто чувствовал, что конец его близок... Глаза были такие большие, большие... Мучительные глаза, и мученические... Чахотка у него была... Ну, я его и того... и прикончил...

— За что же, Буренин?

— Шибко я в те поры, ваше высокоблагородие, зол был. В душе аж смердело, до того лют был... Чист больно ходил! Чистый был человек, насквозь его видать было... Сам-то больной, еле дышит, умирающий, а где доброе дело, в пользу бедных, больных что затевается, он там первый... Не токмо притащится, на руках принесут его, умирающего... На него все только-только богу не молились... Святым его почитали... И так мне, ваше высокоблагородие, от его чистоты моя грязь засмердела. Места себе не нахожу! Возненавидел я его, как Каин Авеля... Разгорается у меня душа... «Ведь вот, думаю, как людей люди любят, а я-то, я-то... словно гадина хожу, сторонятся все...» И такая меня злоба взяла... я его и покончил...

— Сразу, Буренин?

— Нет, мучил. Долго мучил. Больной он, говорю, был, чахоточка у него была, кровью он кашлял. Так я его по больному-то, по больному-то... Хлынет у него кровь, — вижу нельзя больше, так я, кто ему ближе, дороже, раздену, обнажу да плетью-то, плетью грязной, да при

нем-то, при умирающем, при истерзанном. «Смотри, мол, хорошо? А? Хорошо?» Смотрит он своими глазами, большими, страдальческими, мучится, страдает, помочь-то не может: кровь его душит, мной же вызванная кровь... Мучил я его долго... До таких поганств доходил, до каких никогда не доживал... Однако вырвали у меня его тело и в теплые края повезли, чтоб оправился. Тут на меня прямо смрад нашел... Задыхаюсь... «Ужели, думаю, уйдет?..» Тут я его и прикончил... Затянул петлю, — задрожал он весь, кровь пеной, пеной пошла, в моих руках и помер.

— И не жаль, Буренин?

— Страшно было очень... Потом прошло... А спервоначалу так страшно было... Кругом все сторонятся: «Убийца!..» И сам знаю, что убил, а мне все кажется, что жив «он»... Войдешь это, бывало, в пятницу, в свой день, в подвал свой, грязный, холодный, темный, человеческой кровью испачканный, замахнешься плетью, чтоб кого истязать начать, — передо мною «он»... Глаза большие, страдальческие, по губам алая кровь бежит... На меня глядит... «Жив!», думаю... Волосы на голове шевелятся... Бросишь, другого-то, да за него... Опять его вешать начнешь... Над телом ругаешься: «Да умри ты! Когда ты умрешь?..» Петлю-то на мертвом уж затягиваешь, ногами топчешь... «Умри!..» Сколько разов я покойника вешал... Повесишь и на ноги ему повиснешь: «Умри! Совсем умри!» Все являлся. Года три мучился...

— Ну а теперь, Буренин?

— И теперь является. Редко только... Останешься этак в кабинете один; вечером, возьмешься за перо, глядишь, а из темноты угла-то «он» выходит. Волосы длинные, лицо бледное, глаза большие, широко раскрыты, и на губах все кровь... Живая кровь...

— Ну и что же, Буренин?

Лицо старого сахалинского палача передернулось.

— Осиновый кол покойнику в могилу затесываю!.. И до сих пор...

— Еще раз, — и не жаль вам, Буренин, ни себя, ни других? Он только рукой махнул.

— Себя-то уж поздно жалеть! А других? Как их, чертей, жалеть, когда бьют они меня, походя, как собаку бьют!

И в голосе старого палача зазвучала нестерпимая, непримиримая злоба, которой нет конца, нет предела.

— Как бьют, Буренин?

— Бьют! Без жалости, без милосердия бьют! Без счета! Девушку одну, артистку, в Варшаве убили! Ну, я взял покойницу, обнажил и начал плетью... Ведь покойница, не больно ей, дай человеку душу-то потешить... Так и труп отняли, и того жалко! Явились, бить явились, кричали, изломать, измолотить хотели. Я уж под стол спрятался, сидел, не дышал, боялся — увидят, избыют, кости у меня ныли...

И когда он говорил о «труп», он был похож на огромного разозленного голодного ворона, у которого отняли падаль.

— Писателя одного старого... Почтенный такой был, его тоже праведником считали... Я «взял» его, как люблю... С женой, да по ней-то, по ней... Сын его меня на Невском встретил, да палкой, палкой... Разве «они» разбирают, как бьют! Где попадут, там и бьют. Недавно тоже... Начал я это «эзекуцию» над недругами своими производить да грязными руками за близких им людей, а «они» собрались и меня! Как били! Косточки мои болят, как били... Да всех-то и не пересчитаешь, кто бил... А плюют-то, плюют как при этом...

Буренин схватился за голову.

И он был мне больше не ужасен, не отвратителен, он был мне жалок, бесконечно жалок, этот озлобленный, оплеванный старый литературный палач.

*В. М. Дорошевич. Избранные страницы.
М., 1986, С. 101—107.*